

Виктор Топоров

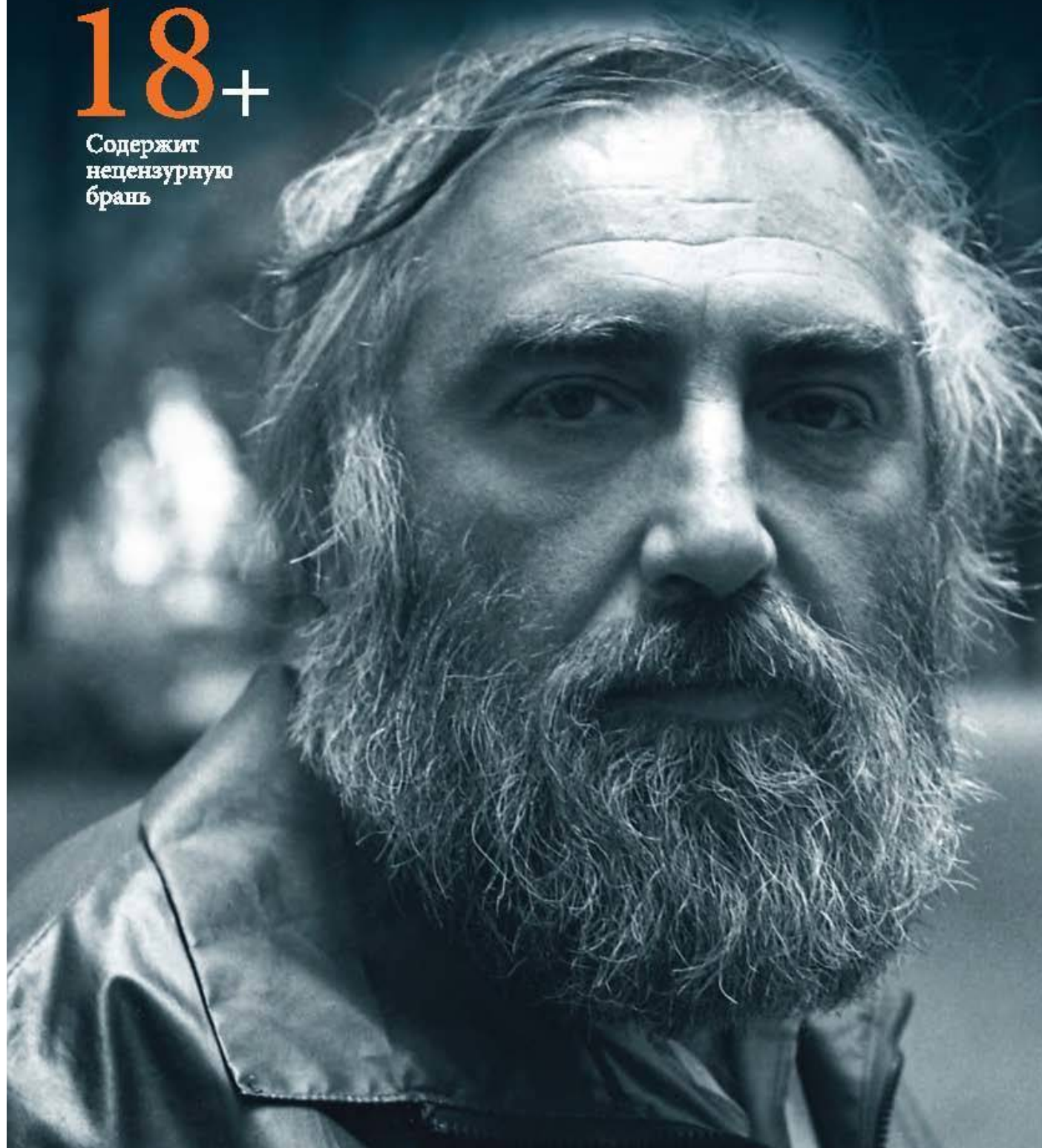


КНИЖНАЯ
ПОЛКА
ВАДИМА
ЛЕВЕНТАЛЯ

Двойное дно

18+

Содержит
нецензурную
брань



Книжная полка Вадима Левенталя

Виктор Топоров

Двойное дно

ИД «Флюид ФриФлай»

1999

УДК 82-94
ББК 84(2Рос=Рус)6

Топоров В. Л.

Двойное дно / В. Л. Топоров — ИД «Флюид ФриФлай»,
1999 — (Книжная полка Вадима Левенталя)

ISBN 978-5-907220-09-6

Воспоминания В. Л. Топорова (1946–2013) – знаменитого переводчика и публициста – посвящены в основном литературной жизни позднего СССР. В объектив мемуариста попадают десятки фигур современников от Бродского до Собчака – но главная ценность этой книги в другом. Она представляет собой панорамный портрет эпохи, написанный человеком выдающегося ума, уникальной эрудиции и беспримерного остроумия. Именно это делает «Двойное дно» одной из лучших мемуарных книг конца XX века.

УДК 82-94
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-907220-09-6

© Топоров В. Л., 1999
© ИД «Флюид ФриФлай», 1999

Содержание

Предисловие издателя	6
Глава 1	7
Глава 2	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Виктор Топоров

Двойное дно

© В. Топоров, наследники, 2020

© ИД «Городец-Флюид», 2020

© П. Лосев, оформление, 2020

Предисловие издателя

Второе издание «Двойного дна» выходит в свет через двадцать лет после первого – и через шесть лет после смерти автора. При этом библиографической редкостью издание 1999 года стало почти сразу. В чем же дело, почему так долго?

Однозначного ответа на этот вопрос у меня нет – скажу честно, мы об этом с Виктором Леонидовичем не говорили. Говорили – и не раз – о замыслах новых книг, а о переиздании старых – нет. Могу предположить, что если бы речь о новом «Двойном дне» зашла, Топоров едва ли стал бы просто перепечатывать текст «захаровского» издания. Возможно, он дописал бы для нового издания главу-другую. Вероятно, захотел бы дополнить книгу еще парой пародийных «рецензий». Снабдил бы текст сносками и/или комментариями...

Последний прием прямо-таки напрашивается: «Двойное дно» полно оборотами типа «такое-то издание, с которым я до сих пор сотрудничаю...», «такой-то занимает такую-то должность и по сей день...», «с такой-то мы остаемся в дружеских отношениях...» – притом что многие из тех изданий закрылись, какие-то знакомые сменили должности, а с некоторыми отношения испортились еще до 2013-го. Что уж говорить про 2019-й – едва ли не все эти обороты сегодня анахронизмы.

Что делать издателю при отсутствии артикулированной авторской воли? Как печатать текст? Существует проверенный и надежный способ – комментарии: с таким-то изданием В. Т. прекратил сотрудничество в таком-то году, этот оставил должность в таком-то, а та умерла... Правда, в таком случае оказалось бы, что не обойтись без хотя бы коротких биографических справок о людях, которых В. Т. упоминает, – хотя бы о части этих людей.

Это большая, кропотливая и интересная работа, и мы в редакции уже было приготовились к ней, но нас остановило одно соображение. Вот оно: некоторые из героев книги еще живы. И что же? Значит, снова «работает в такой-то редакции по сию пору...»? Известна греческая максима о том, что никого нельзя назвать счастливым, пока он не умер. Применительно к «Двойному дну» это значит еще и то, что, пока хоть один из героев жив, сюжеты книги не завершены – и к тому же само появление второго издания может придать развитию этих сюжетов дополнительные импульсы. Мало того, гипотетический комментатор неизбежно обнаружил бы себя в эти сюжеты втянутым и, как наблюдатель в квантовых экспериментах, на них влияющим.

Короче говоря, сколько-нибудь полный и объективный комментарий к этой книге можно будет сделать еще не скоро. Делать половинчатый нет смысла. А книга нужна уже сейчас – о ней постоянно вспоминают, на нее ссылаются, ее ищут по лавкам и сайтам старой книги...

Вот почему мы приняли решение печатать текст «Двойного дна» без изменений и без комментариев. В конце концов, заинтересовавшимся судьбой тех или иных упомянутых в книге людей – Google в помощь. Единственное, что мы себе позволили – это исправить несколько очевидных опечаток, заменить цифровую запись дат и чисел на словесную да в некоторых исключительных случаях привести к современной норме расстановку знаков препинания. В одном случае мы убрали комментарий первого издателя, в другом, наоборот, упоминание о нем добавили. Это все.

Читать эту книгу нужно держа в голове, что она написана двадцать лет назад. Имея в виду, что, хотя примет времени в ней множество, написана она все-таки вовсе не на злобу дня. Ну и не забывая, что однажды она будет переиздана с обширным подробным комментарием.

Вадим Левенталь

Глава 1

Сын адвоката Топоровой

Моя мать, Зоя Николаевна Топорова, умерла во сне ночью с 16 на 17 июня 1997 года после тяжелой ссоры со мной накануне. Через несколько дней – 22 июня – ей исполнилось бы восемьдесят восемь лет.

Я родился у нее поздно и оказался, естественно, единственным ребенком. «Дитя Победы», как это тогда называлось, – отсюда и незатейливое имя Виктор. Родители сошлись в войну – в блокаду – и никогда не жили вместе: у отца была другая семья, а мать, не слишком, по-моему, любившая его и, главное, любившая рано приобретенную независимость куда сильнее, не настаивала на нормализации или формализации отношений.

Жестоко и не совсем понятно для меня обидела она отца, записав мне в метрику фиктивное отчество Леонидович – на самом деле я должен был бы зваться Ефимович. Означающий незаконнорожденность прочерк в метрике меня не смущал, хотя и обернулся несколько неожиданным пожизненным недоразумением: достигнув шестнадцатилетия, я оказался вынужден – вопреки самоощущению – записаться русским. А значит, каждый раз в ответ на прямой вопрос «Ты еврей?» или, в иных ситуациях, «Простите, а вы, случайно, не еврей?» вместо столь же простого ответа пускаться в путаные объяснения. Да и то сказать: русский по паспорту и по фамилии, младенцем окрещенный в православие (подсутилась первая из моих нянек, за что и была уволена), и вместе с тем стопроцентный еврей по крови, по внешности, по целой бездне национальных черт и привычек, и вместе с тем атеист или в лучшем случае агностик, и вместе с тем русский патриот, и вместе с тем литератор и шахматист, и вместе с тем пьяница и драчун, и вместе с тем неумеха во всем, что связано с необходимостью забить гвоздь или пришить пуговицу...

Как правило, меня принимают за полукровку – и я даже не спорю. Да я ведь и действительно полукровка: во мне смешалась кровь обрусевших евреев-выкрестов из Петербурга (дед матери Абрам Топоров вышел в отставку генералом) с куда более горячей (и дикой) кровью одесских евреев: отец мой был даже не из Одессы, а из-под Одессы – в Одессе он учился, воевал в Гражданскую, политиканствовал в Бунде, впервые получил известность как адвокат.

Одна из самых загадочных для меня семейных историй звучит так: мой отец, командуя в девятнадцатилетнем возрасте отрядом еврейской самообороны, попадает в плен к Петлюре. Дед, скромный аптекарь по имени Фока, собирает деньги и отправляется выкупать сына. Петлюра (сам! таково предание) принимает выкуп и, вместо того чтобы повесить Фоку и сына его Хаима-Лейбу на одном суку, отпускает обоих. Отец возвращается в еврейскую самооборону.

Здесь настала пора разобраться с именами и отчествами. Отца моего при рождении нарекли, как уже было сказано, Хаимом-Лейбой. Хаим-Лейба Фокич Бегун стал – к переезду в Ленинград в начале тридцатых – Ефимом Федоровичем. Записывая меня, мать рассудила, что если Хаим – это Ефим, то Лейба – Леонид, а Леонидом звали и единственного человека, которого она любила по-настоящему, – питерского писателя Леонида Радищева, попавшего в лагерь перед войной и вернувшегося только в 1956 году, – и таким своеобразным способом мать как бы вовлекла его в процесс моего рождения. На мой взгляд, безвкусно – но со вкусом у матери всегда были определенные затруднения.

Радищев был (до ареста) бойким журналистом, пописывавшим и прозу, его ценили – правда, мне кажется, больше как собутыльника – Максим Горький и Алексей Толстой. Сел он за то, что, зайдя в магазин после очередного подорожания – знаменитые сталинские подешевления начались лишь после войны, – воскликнул: «Пусть за такие деньги сливочное масло Сталин кушает!», и тут же был взят, получил срок, в лагере – второй, а вернувшись, принялся

писать полупостыдные рассказы о Ленине (сборник «Крепкая подпись»). С моей матерью они встретились (ревность отца, как и всякого приходящего полумужа, стопроцентной броней служить не могла; я, впрочем, десятилетний и полностью осознающий, что происходит, блюл собственные и поневоле отцовские интересы, находясь в соседней комнате) и, не понравившись друг другу, расстались уже навсегда. Союз писателей дал ему однокомнатную квартиру, где он и умер и пролежал несколько недель – почуяв в конце концов запах, соседи сбегали за дворником.

Радищев был, разумеется, литературный псевдоним, настоящая фамилия его была Лившиц, так что русский отец – даже в чисто умозрительном плане – мне не грозил. Да и другие поклонники и – реже – любовники матери были в основном евреями. Что имело, конечно же, в первую очередь профессиональное объяснение: адвокаты.

Долго и безуспешно сватался к матери богатый, но, как она утверждала, бездарный адвокат Лев Великсон; фамилия здесь важна, потому что он, наряду с прочим, жаждал меня усыновить. Великсон был библиофилом, а книги собирал лишь по трем направлениям: юридическая литература, эротическая литература и всё о Льве Толстом. Иной раз я подшучивал над матерью, расписывая ей перспективы замужества, маячащие за такими пристрастиями.

Еще один кандидат в мои отчимы – некий Залман Соломонович – не имел шансов на успех, будучи редкостно некрасив, но его допускали в дом как интересного собеседника. Или, точнее, рассказчика. Скромный кандидат сельскохозяйственных наук, он выправил себе допуск в спецхран Публичной библиотеки и, владея парой-тройкой языков, читал, а затем и пересказывал – по крайней мере, у нас дома – зарубежную прессу. На усыновление он тоже имел виды – иначе с чего бы дарить мне Еврейскую энциклопедию, двухтомную историю еврейских гонений и прочую литературу того же рода? Мои стихи на израильско-арабскую войну 1956 года:

Раз-два-три, идут солдаты,
А в ООН идут дебаты.
За дебатом идет дебат,
А в ООН Насер-магнат.
Солдаты гибнут за Насера,
И в него у них гибнет вера.
Скоро погибнет и он.
Да здравствует Бен-Гурион!

и целый цикл исторических трагедий в стихах – «Авессалом» и трилогия «Последние Хасмонеи», написанные тогда же, свидетельствуют о том, что я и впрямь подпал под влияние сионизма, но уж никак не под влияние Залмана Соломоновича, которого мы с матерью в конце концов от дома благополучно отвадили.

Мать не была хороша собой (в отличие от сестры Татьяны, прожившей с нами всю жизнь), не обладала ни шармом, ни даже, по-моему, желанием нравиться, но, что называется, «на любителя» воздействовала гипнотически. Последний из ее поклонников (а ей было уже за пятьдесят) оказался писаным красавцем двадцати восьми лет от роду под псевдоаристократической фамилией Вонский. Разумеется, я прозвал его Вонючкиным – и сделать предложение он так и не решился. Имелся еще какой-то многолетний московский «друг» Иосиф Борисович, которого я ни разу не видел.

В целом же мать не столько перебесилась к моему появлению на свет, сколько не бесилась вроде бы никогда. Разве что в ранней юности дралась на кулачках с сестрой из-за поклонников. Но и тогда, а уж потом тем более, сестра оставалась для нее главным человеком. Может быть, наравне со мной, но не уверен: сестру свою – маму Таню, как я ее называл, – мать, по-моему,

любила сильнее или, во всяком случае, более слепо, чем меня. Так слепо она любила потом лишь мою дочь, свою единственную внучку. А во взаимоотношениях с мужчинами всю жизнь оставалась зрячей.

Долгие десятилетия я проходил в Питере по ведомству «сын адвоката Топоровой». Сперва это произносилось нежно, с придыханиями, потом через силу, потом не без злого удивления. Точнее всех выразилась покойная переводчица Эльга Львовна Линецкая: «Удивительно, как сын такой замечательной матери может оказаться подобной сволочью».

Линецкая «по жизни» на доступном ей уровне подражала Ахматовой – и, соответственно, старалась находить и доводить до сведения общественности чеканные формулировки. Я отвечал, разумеется, эпиграммами:

Я знаю место для Линецкой!
И знаешь, где оно? В мертвецкой!

или, ближе к нашей теме, да и вообще деликатней:

Надменна и втайне жеманна,
С оглядкой на гамбургский счет,
Я словно Ахматова Анна,
Я мой – из нее – перевод.

Линецкая умерла в одно лето с моей матерью, да и были они, кажется, сверстницами.

С самой Ахматовой мать виделась всего пару раз и общалась в основном через общую приятельницу, некую Рыбакову. Мать рассказывала обо мне Рыбаковой, та – Ахматовой, и в результате я получил от Анны Андреевны галстук из Италии и приглашение приехать в Комарово. Рыбакова подсказала, что к Ахматовой надо непременно явиться с цветами, мать выделила мне на это трешку, помимо рубля на обед; ситуация показалась мне нелепой, а сумма – интригующей. В результате я деньги пропил, а Ахматову увидел уже только в гробу. В чем, правда, не раскаиваюсь: общение с величественными старухами всегда казалось мне и кажется до сих пор разновидностью описанных Дантом мук. И не самой слабой из них.

После кончины Ахматовой между наследниками разразилась тяжба, в которую моя мать едва не встряла. Но поскольку за юридической помощью к ней практически одновременно обратились и Гумилевы, и Пунины, она сочла за благо отказать обоим.

Сегодняшний читатель если и знает мою мать, то как защитника по делу Иосифа Бродского. Меж тем это была не самая главная и уж, безусловно, не самая героическая ее защита. Правда, впоследствии ставший знаменитым клиент остался доволен. Колеса между США и Россией, питерский стихотворец Евгений Сливкин успел передать моей матери отзыв нобелевского лауреата: «Зоя Николаевна – единственный человек в России, о ком я вспоминаю с благодарностью». Что, разумеется, трудно признать чем-то иным, кроме как случайным комплиментом, но тем не менее.

Мать так и не собралась написать или хотя бы надиктовать какие-нибудь «Записки адвоката» и никогда не вела надлежащего архива (кроме как по делу Бродского, но его у нее как раз выманили); многие дела – послевоенные и, понятно, довоенные – я знаю и помню только в ее тщательных, но лишенных малейшей красочности пересказах; другие – более поздние – знаю лучше, потому что с какого-то момента (лет с пятнадцати) овладел юридической премудростью в такой степени, чтобы давать ей (а затем и ее коллегам-адвокатам) профессиональные советы. Ей очень хотелось, чтобы я стал адвокатом (подобно отцу, матери, деду и одному из прадедов с материнской стороны), хотя, как выяснилось довольно скоро, наклонности и способности у меня оказались скорее прокурорскими. Соответственно, и помощь моя заключалась главным

образом в том, что я заранее предугадывал линию обвинения и юридическую квалификацию, которую затем предлагал прокурор.

Для разрядки перескажу забавную историю, в которой я, в отличие от всегдашнего, подсказал матери линию защиты. На одном из питерских заводов шестидесятилетняя кладовщица-горбунья оказывала рабочим оральную услугу, ставка у нее была рубль. Двое мужиков (одного из которых защищала моя мать) спяну овладели ею естественным образом. Оскорбленная женщина подала заявление в милицию. Обозначилась «расстрельная» статья «Групповое изнасилование».

С проблемой орального секса мать, если не ошибаюсь, столкнулась тогда вторично. В первый раз я, четырехлетний, обратился к ней с вопросом «Мама, а пипа вкусная?» и на контрвопрос «Ты что, с ума сошел?» подлю наябедничал: «А вот соседская Таня говорит: „Дай сососу!“». Мать помчалась к соседям, и они в тот же вечер съехали с дачи, увозя с собой восьмилетнюю минетчицу.

Но теперь мне было уже шестнадцать, и я квалифицированно объяснил матери, что согласие на оральный секс равнозначно согласию на половой акт как таковой, не зря же изнасилование в извращенной форме приравнивается у нас к обычному изнасилованию (да еще фигурирует какотягчающее обстоятельство; любопытно, кстати, что так в СССР обстояло дело не во всех союзных республиках – и, например, в Литовской ССР оральное изнасилование квалифицировалось куда мягче – всего лишь как злостное хулиганство). Одним словом, дело мы с матерью выиграли, но это был тот редкий случай, когда я играл на стороне защиты; моя всегдашняя роль была прокурорской, амплуа «адвокат дьявола».

Кодексы – Уголовный, Уголовно-процессуальный и прочие, равно как и комментарии к ним, – были у меня под рукой лет с шести, и я знал их, естественно, наизусть, – в доме постоянно рассказывались и обсуждались юридические дела, так что в моем самообразовании не было, строго говоря, ничего удивительного. Впоследствии, выйдя на пенсию, мать начала играть в инсценировки судебных процессов с внучкой – и, случайно прислушиваясь, я как-то с ужасом обнаружил, что играют они в «групповое изнасилование».

«Запомни, сынок, что девушка может, во-первых, заставить тебя на себе жениться, во-вторых, подать на тебя в суд за изнасилование, в-третьих, забеременеть, а в-четвертых, заразить тебя венерической болезнью» – такими словами (варьировалась только последовательность страшилок) напутствовала меня мать перед каждой ежевечерней прогулкой лет начиная с двенадцати. Странно, что я не стал голубым – против этого мать меня почему-то не предостерегала.

Тема изнасилования всплывала в материнских рассказах и на основе единственного личного опыта, безусловно комического. Где-то в начале тридцатых она поехала на выездную сессию суда в спецвагоне, в котором ее разместили в одном купе с прокурором, тогда как судья разместился в соседнем. Прокурор, молодой мужик, выпив, полез к ней. Мать отчаянно забарабанила в стенку купе: «Товарищ судья! Меня товарищ прокурор насилует!» Из того же поезда по дороге сбежал подсудимый, и судья в плане черного юмора предложил, чтобы поездка не окончилась полным пшиком, осудить прокурора.

Юридические советы и процессуальные действия моей матери, как правило выверенно точные, оборачивались полной беспомощностью, когда дело затрагивало кого-нибудь из близких. Особенно тяжело приходилось мне: мать буквально теряла голову, разбираясь в моих окологриминальных передрягах.

Однажды, летом 1972 года (тем летом я попадал в милицию чуть ли не ежевечерне – тем оно в конце концов и запомнилось, тогда как любовные страдания и мысли о суициде с годами практически выветрились из памяти), я в очередной раз угодил в пикет. Произошло это так: выбив чек, я полез брать бутылку без очереди – и взял. Недовольные этим люди из

очереди вышли на улицу поговорить со мной по-мужски. Но, увидев наряд милиции, сориентировались на месте и сдали меня с рук на руки: благо я был уже прилично пьян. Меня приволокли в пикет, приятельница, которую я на всякий случай (еврейская предусмотрительность) определил в хвост очереди к прилавку, преданно проследовала за мною. В пикете я завел свою всегдашнюю песню: «Сейчас позвоню прокурору города! Завтра будете пасти коз в родном колхозе!» Иногда это на ментов (их тогда называли мильтонами или легавыми) и впрямь действовало, но на этот раз не сработало. Меня обыскали – и нашли в кармане маленькую и сравнительно безобидную, но тем не менее финку.

Из пикета меня тут же отправили в отделение. Приятельница сообразила, что надо подключить к делу мою мать, которую она на тот момент не слишком хорошо знала. Поэтому она решила сперва забежать к мужу, знакомому с моей матерью куда лучше (именно на пару с ним мы выводили ее сквозь строй дружинников после суда над Бродским). Мужа она застала в неподобающем виде: только что его навестил один ревнивец, нанеся сокрушительный удар и, не произнеся ни слова, удалился. И вот Коля со стремительно набухающей на лбу шишкой и Тоня, которой я, впрочем, успел передать многострадальную бутылку, отправились к моей матери и сообщили ей о том, что у меня нашли финку и я препровожден в 28-е отделение.

Мать была на тот момент действующим адвокатом. Знаменитым адвокатом. В отделении, куда меня привезли, она читала для личного состава какие-то лекции – и ее там все знали... Моментально протрезвев, я объяснил дежурному, что еду с дачи (которой у нас не было), нож у меня для садовых надобностей, а сам я – преподаватель ЛЭИСа (откуда я уволился за несколько месяцев до того, но мудро не свел штамп о месте работы из паспорта – и это меня не раз выручало на протяжении всех пятнадцати лет, когда я формально числился тунеядцем)... И тут появляется адвокат Топорова и принимается объяснять дежурному: «Когда Вите было восемнадцать, его зверски избили. И с тех пор он носит финку для самозащиты...»

А ношение финки было само по себе преступлением, если длина лезвия превышала уже не помню сколько сантиметров. Лезвие моей финки оказалось короче, но ни я, ни тем более мать этого на тот момент не знали. Услышав «защитительную речь», я невольно похолодел.

Меня, естественно, оставили на ночь в камере, а с утра судили. Спасли недостаточная длина лезвия и «преподавательская работа». Дали мне мелкое хулиганство – но не «сутки», а штраф в тридцать рублей. Обладая повышенным чувством справедливости, я предложил матери оплатить его – сама виновата. Обладая повышенным чувством справедливости, она после продолжительных прений согласилась с моими доводами. Впрочем, тридцати рублей у меня самого так на так не было.

На протяжении десятилетий (всего она проработала в Ленинградской коллегии адвокатов сорок семь лет – с двадцати до шестидесяти семи) мать слыла лучшей адвокатессой города. Внекатегорно лучшей, уточняли доброжелатели. Недоброжелателей, не говоря уж о врагах, у нее просто не было: при всей цельности и несомненной силе натуры мать обладала поразительной способностью к компромиссам. Невероятно упорная, она чаще всего переубеждала оппонентов, но, когда ей это не удавалось, скрепя сердце признавала их правоту, а признав, верила в нее, как в свою собственную. Сужу не понаслышке: самые яростные споры происходили у нее со мной – зачастую по фантастически вздорным поводам, – мать стояла на своем до конца. В последние годы я шутя называл ее за это «Ельциным» и лишь однажды, когда, вернувшись из Москвы, обнаружил, что она задержала еженедельную зарплату приходящей домработнице, обозвал «Черномырдиным».

Адвокатами были ее отец, Николай Абрамович Топоров, и дед, Борис Матвеевич Кричевский. Борис Матвеевич, впрочем, не имея высшего образования, был не присяжным поверенным, а стряпчим, то есть ходатаем по гражданским и имущественным делам. Но чрезвычайно удачливым стряпчим, а затем и предпринимателем-миллионщиком. Правда, у него была

досадная привычка, прикопив триста тысяч рублей, отправляться в Монте-Карло и проигрывать все до нитки, но, вернувшись, он брался за юриспруденцию и коммерцию с новой энергией. И когда Первая мировая положила конец разорительным поездкам на Лазурный берег, основал завод, именуемый теперь (или именовавшийся еще недавно) Охтинским химкомбинатом. У него было двое сыновей – щеголи, юристы, один из них, к тому же третьестепенный поэт-символист Юрий Кричевский, – и красавица дочь, моя бабка Марья Борисовна.

По-видимому, Марья Борисовна была самой незаурядной личностью в нашей и без того не совсем ординарной семейке. В молодости она кружила головы (дед дрался из-за нее на дуэли), дружила с символистами (училась в одном классе с Любовью Менделеевой) и с Плехановым, была, естественно, меньшевичкой; крутила многолетний роман с историком Тарле («Микроцефалы-ленинцы подняли голову, но мы им, слава Богу, показали!» – писал он ей в июле 1917-го из Петербурга в Иматру); растила двух дочерей и сына; знала пять языков (уже после революции выучила шестой – испанский); в силу левых взглядов отказалась в 1916 году от своей доли отцовского наследства; три года не разговаривала с собственным мужем после того, как тот выгнал из дому Маяковского. А выгнал он его за то, что, впервые попав к нам, Маяковский встал на четвереньки и принялся лаять.

Словечко «к нам» промелькнуло в предыдущем абзаце не случайно: дело происходило в той квартире на улице Достоевского и конкретно в той комнате с остатками былой обстановки, в которой я прожил до тридцати четырех лет – пока дом не встал на капремонт; эту квартиру (и соседнюю по черному ходу – для слуг) прадед-стряпчий подарил деду с бабкой на свадьбу. Уже к началу тридцатых наши владения съезжались до трех комнат в огромной коммуналке – таковыми и оставались до 1980 года, когда дом расселили.

В одной большой комнате жила моя тетка, в другой мы с матерью, в третьей – маленькой – домработница. Потом, лет в семнадцать, маленькую вытребовал себе я (главная наша домработница Катя получила к этому времени комнату в соседнем доме, но прожила там недолго – заболела раком и умерла), потом мать с теткой поселились в одной большой, а моя жена с дочерью – в другой, потом дочь забрала к себе бабка с материнской стороны, я перевел жену в маленькую комнату, а сам поселился в большой, потом умерла долго болевшая перед тем паркинсонизмом тетка, нас с матерью переселили на Апраксин переулок, жену я с собой не взял – и мой единственный законный брак (хотя браками я считаю еще четыре) на этом распался.

Дед мой, Николай Абрамович Топоров, был человеком, судя по всему, поплоше. Внешне чрезвычайно похожий на черноусого Сталина, удачно (то есть по любви и выгоде, но не слишком счастливо, потому что жена ему изменяла) женившийся адвокат-либерал, он (сужу по сохранившимся письмам к чуть ли не постоянно пребывавшей за границей бабке) проводил время по раз навсегда заведенному распорядку. С утра был в суде, днем обедал в ресторане, вечером проводил прием у себя в кабинете (угловая комната с эркером в нашей квартире; впоследствии моему отцу удалось прописать в эту комнату свою способную стажерку и, как судачили на коммунальной кухне, – не только стажерку; если это правда, то папаша был крут!), потом отправлялся в театр, потом ужинал в ресторане – и все по новой. Два дня в неделю – вторник и пятницу – отводил защите интересов неимущих, а раз в неделю (по средам) вместо вечернего приема клиентов читал лекции в рабочих кварталах. Меланхолически фиксируя все литературные связи, отмечу, что письмоводителем у деда работал начинающий маринист Новиков-Прибой.

Голосовал дед за правых эсеров, но знался и с большевиками. В гражданскую, когда Юденич подступал к Петрограду, друзья-ленинцы предложили ему определиться: вступить в партию или отправиться под расстрел. Дед выбрал партию. А выбрав, вроде бы забыл об испытанном унижении: проникся искренней симпатией к вождю и его идеям, а после смерти Ильича (которого он пережил на четыре года) то и дело сокрушенно повторял: «Ленин бы такого не допустил!» Имея в виду, как можно понять, не столько Сталина, сколько Зиновьева.

Многие друзья отвернулись от него; многие, напротив, поспешили воспользоваться его протекцией, чтобы поступить уже в советскую коллегия адвокатов (для чего требовалась рекомендация влиятельного партийца); многие, естественно, ухитрились сделать и то и другое одновременно.

Полвека с лишним спустя я резко схлестнулся с филологом-германистом Владимиром Адмони, не столько пакостившим мне в литературной жизни, сколько придававшим собственной якобы честной физиономией внешнюю благопристойность подлинным пакостникам, укрывшимся под его старческим крылом.

«Как вам не стыдно, Владимир Григорьевич! – укорял я его. – Это же вы поклялись моей матери после суда над Бродским помогать мне. Но мне не надо помогать, только не мешайте! И это ваш отец, адвокат Адмони-Красный, клялся в вечной признательности моему деду!»

Ленинград – город маленький. Адмони протянул мне руку как бы в знак примирения и тут же затрясся, симулируя сердечный припадок. С трудом освободив руку, я кликнул его домработницу и ушел. Пакость воспоследовала – и на этот раз Адмони (проживший еще двадцать лет) был уже не ширмой, а организатором и вдохновителем.

Через несколько лет те же пакостники расправились и с самим Адмони – и тут он меня сразу полюбил. И даже помог – и я принял эту помощь в нарушение собственного правила «не пей из колодца – пригодится плюнуть». Потому что право плевать в этот колодец у меня не пропало.

А еще через несколько лет престарелому Адмони захотелось напечатать собственные стихи в газете, в которой я курировал литературный отдел. Жалкие графоманские вирши были снабжены восторженными отзывами академика Лихачева и покойной Анны Ахматовой. И я напечатал и стихи, и отзывы, пояснив читателю, что прибавить что-нибудь к таким похвалам было бы с моей стороны просто нескромно.

Став большевиком, мой дед сделал довольно значительную карьеру. Он был председателем городского арбитражного суда, а перед самой внезапной смертью (ему не было и пятидесяти) получил назначение на ту же должность в арбитражный суд республики. Успей семья перебраться в Москву, доживи дед до тридцать седьмого, он наверняка разделил бы всеобщую участь.

Арбитражный суд занимается имущественными делами – и меня утешает мысль о том, что крови на деде, несмотря на внешнее сходство со Сталиным, нет.

Однако партийно-государственная карьера имела в двадцатые не только привлекательные особенности, о чем сейчас сплошь и рядом забывают. Беспартийные специалисты зарабатывали в те годы много, а партийные «садились на партмаксимум». Неплохие деньги в среднем по стране – но не для нашей семьи с тремя детьми, прислугой и привычкой к известной роскоши. Тридцатисемилетняя красавица бабка, барыня и богема, принялась оглядываться в поисках работы.

Чтобы закончить о деде, перескажу анекдот, которым он угостил семнадцатилетнюю дочь Зою, а она – меня, когда мне было лет восемь: «Сидит Троцкий на берегу Босфора и удит рыбу. К нему подходят и говорят: „Троцкий умер“. – „Неправда, – отвечает он, – тогда я не сидел бы здесь и не удил бы рыбу“. К нему подходят с другой вестью: „Сталин умер“. – „Неправда, – отвечает Троцкий, – тогда я не сидел бы здесь и не удил бы рыбу“. К нему подходят в третий раз: „Ленин воскрес“. – „Неправда, – отвечал Троцкий, – тогда он сидел бы здесь и удил рыбу“».

И еще одна характерная деталь: письма к бабке полны восхищенных непристойностей вполне во французском вкусе. И трудно представимые бытовые детали: возьми детей, пишет он бабке на Лазурный берег, и возвращайся в Петербург. Я встречу вас в Берлине... Кстати, это не удалось: война застала Марию Борисовну с дочерьми и сыном на юге Франции, и в Россию они вернулись кружным путем. Для моей матери, тогда пятилетней, это так и осталось на всю жизнь единственной заграничной поездкой.

В доме держали гувернантку, бонну и мисс. Английский и немецкий мать с теткой забыли начисто, а на французском мучительно пытались разговаривать – главным образом, чтобы посеCRETничать в моем присутствии. Но у них ничего не выходило. «Зоя, демонде Виктор, – начинала тетка, и словарный запас иссякал. – Пуркуа он вчера опять напился?» – беспомощно добавляла она. Несколько книг на иностранных языках, случайно пережившие блокаду, наверняка принадлежали не им, а бабке: Маколей, Ламартин, Тьер и, конечно, Гёте с Шиллером готическим шрифтом.

Моя бабка отправилась работать переводчицей в научно-исследовательский институт. К советским фрейдистам, фрейдистским марксистам, педагогам-психоаналитикам или, как они именовали себя, педологам. Постепенно увлеклась этой, как выяснилось ближе к середине тридцатых, лженаукой, стала пописывать статьи. Некоторые из них, трактующие почему-то тему «переноса», я в детстве обнаружил и самым тщательным образом изучил. Бабка писала, скажем, что, заметив интерес школьника к однокласснице, учительница должна «перенести» его на себя, а уж затем перебросить из сексуальной сферы в творческую. Мысленно перебирая собственных училок, я соглашался со Сталиным: педология – лженаука.

По окончании войны к нам, рассказала мне мать, пришла любимая бабкина учительница-педологиня и забрала ее рукописи, пообещав их по возможности напечатать. И сгинула. Мать решила, что рукописи украдены и присвоены, но не стала по этому поводу сокрушаться.

Жизнь устроена странно, и, услышав рассказ одной из своих возлюбленных о замечательной бабке, профессоре психологии, я шутливо предположил, будто это и есть та самая предполагаемая плагиаторша. Спросил фамилию бабки, прошел в соседнюю комнату, обратился к матери: тебе говорит что-нибудь такая фамилия? Нет, ничего. А как звали бабушкину учительницу, которая забрала архив? Так-то. Нет, сказал я подруге, твоя бабка реабилитирована, нашу плагиаторшу звали иначе. И назвал фамилию. И тут моя подруга переменялась в лице – это была девичья фамилия ее бабки.

Заработки переводчика и научного сотрудника без степени были копеечными – по меньшей мере на вкус моей бабки. В тридцатые она получила через так называемый Торгсин (торговля с иностранцами) колоссальную по тем временам сумму в четыре тысячи долларов и промотала ее за полгода.

Тетка, закончив театральное училище, решила продолжить образование на поприще все той же педологии и должна была защищать диплом, как раз когда лженауку прикрыли. Черета теткинх замужеств семейному преуспейанию не способствовала: а начала она с личного адъютанта маршала Блюхера, ставшего в мирной жизни директором крупного завода, переведенного за пьянство директорствовать на средний завод, потом – на малый и только потом посаженного и расстрелянного; продолжила университетским профессором, расстрелянным практически в те же дни, что и адъютант.

Младший брат матери, Валерий Николаевич, был человеком с выраженной авантюристической жилкой. Комсомольский работник (и, разумеется, оппозиционер), он, вылетев со всех постов, отправился гастролировать по стране с лекциями о международном положении, отпечатав еще в Ленинграде стопку афиш, на которых значилось «доктор политических наук Валерий Топоров». Ни доктором, ни кандидатом он не был, да и высшего образования не имел, а «политические науки» появились в нашей стране, только когда понадобилось переименовать научный коммунизм, то есть в перестройку. Где-то на Украине нашелся умник, «стукнувший» на доктора несуществующих наук. По доносу на лекцию пришли, а услышав ахию, которую нес лектор (или, мягче, крамолу), арестовали его прямо в зале.

У дяди была астма, в тюрьме развилась скоротечная чахотка. Его, как это ни странно, сактировали, то есть выпустили на свободу умирать. Он и умер на руках у жены (он женился на медсестре, и его брак считался в семье мезальянсом), оставив годовалого сына. Сын этот – Валерий Валерьевич Топоров – мой ближайший родственник по мужской линии, но видимся

мы лишь по скорбным поводам (в последний раз – на похоронах моей матери). Он железнодорожник, теперь уже на пенсии. Его мать жива, она то и дело звонила моей, а теперь время от времени звонит мне.

В тюрьму дяде слали продуктовые посылки, ни одна из которых, как выяснилось по освобождении, не дошла до адресата. Тетя Зина (его жена) подала жалобу, и ей прислали диковатый документ: «Жалоба проверена. Факты подтвердились. Следователь такой-то приговорен к высшей мере социальной защиты. Приговор приведен в исполнение». Должно быть, какой-то хлопец, польстившийся на невиданные балыки и икру. Комментировать это трудно.

Прокутив все торгсиновские боны, бабка вновь поступила на службу в научно-исследовательский институт, теперь психиатрический. И вновь, начав с переводов, врубилась в дисциплину и вроде бы даже собралась «защищаться». Но тут началась война, блокада; единственным мужчиной в доме был годовалый сын моей тетки; он умер третьим; первой – домработница, второй – бабка. Ей было тогда пятьдесят восемь лет. Чтобы спасти ребенка, тетя определилась с ним на работу в детские ясли, но этот Коля Топоров (сын расстрелянного профессора) и там не выжил.

Мать получила «рабочую карточку», правда, не сразу – к этому времени она была секретарем президиума коллегии адвокатов. В конце войны у тетки появился муж-оркестрант из армян, он ее подкармливал. Моей матери помогал отец – тогда они, строго говоря, и сошлись. Сошлись, как утверждала позднее мать, только потому, что отец – красивый, но болезненно тучный мужчина – в блокаду сбросил килограммов сорок.

Однажды мать за бешеные деньги купила на Кузнечном рынке мяса, которое тут же, на рынке, конфисковала милиция, утверждая, будто это человечина. Родная сестра моего отца, заведующая хлебным магазином, была обвинена в крупных хищениях и, взяв всю вину на себя, чтобы выволить любовника, расстреляна. Те же или сходные трагедии (в лучшем случае – драмы) разыгрывались в те годы на периферии семьи, круга, в семьях тех, кто станет потом родителями моих одноклассников. Блокада была западней, рассчитанной на тотальное истребление – типа нацистского концлагеря, – и на всех, кто пережил «ленинградский холокост», как и на уцелевших узников Освенцима или Дахау, навсегда легла тень некоей смутной вины... В первые годы это чувствовалось (и я интуитивно понимал это в детстве), потом как-то стерлось и только лет десять назад начало всплывать в беспощадных – но только не по отношению к самому себе – воспоминаниях типа тех, что сочинил академик Лихачев про коллег-филологов.

Скажем, моя бабка Марья Борисовна вроде бы сознательно уморила себя голодом, отказавшись от последней порции «карточных» продуктов в пользу годовалого внука – и ее дочери приняли эту жертву. Моего любимого дядю (двоюродного), сына поэта-символиста, спасла от голодной смерти возлюбленная, у которой были какие-то припасы, но припасов этих хватало лишь на двоих – и от голода умер ее муж. Впоследствии дядя на ней женился, они, по-видимому, любили друг друга и уж во всяком случае не считали свой «выбор Софи» (если вспомнить роман Стайрона) преступлением. Правда, детьми не обзавелись, а сам дядя – ровесник моей матери – умер в одночасье сорока шести лет. А его родного брата, замечательного археолога, изобретателя «метода Кричевского», убили в поезде «Ленинград – Москва» в первые дни войны, когда ему было тридцать.

Да и мое появление на свет оказалось своего рода предательством по отношению к двоюродному брату Валерию – его мать, скромная медсестра, надеялась, что моя мать-адвокат будет всемерно поддерживать единственного родного племянника, и вариант ограниченной помощи, предложенный после моего рождения, едва ли ее устраивал. Семейные узы не прервались, но на взаимоотношения легла тень обиды.

Домработница, умершая в войну, прослужила в доме больше двадцати лет, мать с теткой называли ее своей няней. Она была старообрядкой – и роскошные старообрядческие «Жития

святых» стали для меня одной из первых книг, едва я научился переносить с места на место и раскрывать этот неподъемный фолиант (читать я научился несколько раньше).

В первые дни войны няня начала метить оконные стекла какими-то странными крестами. Бабка застала ее за этим занятием и запретила его, более того, велела смыть два уже нарисованных креста. Няня отказалась, заявив, что они несмываемы. В войну, когда в дом напротив попала бомба, стекла по всей улице вылетели, кроме этих двух. Кресты и впрямь оказались несмываемыми: я застал оба стекла в целостности и сохранности, а одно из них (с крестом) оставалось цело и в 1980 году, когда мы съехали с квартиры. Другое я разбил в первом классе, вернувшись домой и запустив с порога валенком в окно. В ответ на что мать конфисковала мою копилку – справедливость была ей присуща ничуть не в меньшей мере, чем мне самому.

С магией – подлинной или мнимой – мне довелось на практике столкнуться еще лишь однажды. (Хотя, конечно, против меня поколдовали, присылали мне заговоренные предметы и тому подобное – а только что, 15 марта 1999 г., подбросили в почтовый ящик трехметровую удавку – но это не в счет.) Мы вывезли четырехмесячную дочку на дачу в Зеленогорск. Она ужасно кричала – как кричат дети, у которых пупочная грыжа. Однако тамошний врач оказался бессилен ей помочь. Моя тогдашняя теща, человек бесхитростный, пошептала с местными старухами на лавочке и привела какую-то бабку. Или, вернее, «бабку». Я присутствовал, настаивая на том, чтобы «бабка» не прикоснулась к Аглае и мизинцем. Так оно и произошло. «Ой, у нее щетинка!» – воскликнула бабка и принялась бормотать какие-то заклятья, делая одновременно руками загадочные пассы – но на достаточном удалении от младенца. Я с ней рассчитался, и она ушла. Часа через два на атласном тельце девочки и впрямь показалась щетинка. Показалась, вылезла, сошла – и Глаша больше не кричала. Гонорар бабки составил два рубля.

Был, правда, и второй случай, хотя здесь я не более чем свидетель. Одна моя приятельница заболела раком, чего от нее – в силу запущенности болезни – даже не скрыли. Ее разрежали – как лягушку, сверху донизу – и аккуратно зашили, не став ничего трогать. Ей оставалось, немилосердно объяснили ей, несколько месяцев, может быть, несколько недель. И как раз в эти недели ее бросил муж. И бросил, одновременно обобрав, компаньон-любовник. И какой-то пригородный поп предложил ей уверовать, посулив спасение. Не души, а, прошу прощения, тела.

С тех пор прошло десять лет. Уже в первый год заболел стремительно развившимся раком и умер ее бывший муж. И тогда же убили компаньона-любовника. Моя приятельница полна сил, ворочает какими-то гигантскими строительными проектами (участвовала, в частности, в возведении московского храма Христа Спасителя), а когда я последний раз был у нее в гостях, это был не столько день рождения (сорок девятый), сколько смотрины ее будущего мужа.

Правда, справедливости ради отмечу, что она всегда была внушаема. В молодости (она тогда работала в музее Суворова) я как-то битых четыре часа внушал ей, будто Наполеон взял нашего генералиссимуса в плен и, посадив в клетку, голым возил по Парижу, – и в конце концов убедил. Но внушить веру, исцеляющую от рака? Нет, увольте. Единственное возможное объяснение заключается в том, что так было на самом деле.

Однажды, в 1991 году, начав сотрудничать с «Независимой газетой», славящейся и кичащейся тем, что она якобы не меняет и не сокращает в принятых к публикации текстах ни слова, я написал: «я как агностик»... и тут же откорректировал – не столько по смыслу, сколько в качестве поблажки массовому читателю: «я как неверующий». Статья была опубликована в неурезанном виде, вот только соответствующее место читалось: «я как агностик».

Наша семья всегда была выраженно арелигиозной. Крестился прадед Абрам, избравший офицерское поприще. Крестился прадед Борис – точно не знаю почему, но иначе его бы наверняка не назначили попечителем женской гимназии. Крестились, естественно, их дети и внуки. Но на крещении (и некоторых других обрядах типа венчания) взаимоотношения с правосла-

вием и заканчивались. С другой стороны, мой отец-бундовец, а потом более или менее тайный сионист, младший друг Жаботинского, относился с полнейшим равнодушием к иудаизму.

В одиннадцать лет, на даче в Литве, я полюбил католический обряд, сдружился с ксендзом, и он явился к маме Тане, с которой мы были вдвоем (мать сидела в крупном процессе все лето), с просьбой и предложением отдать меня в семинарию. В тете сработал юридический ген: она пригрозила, связавшись с сестрой, прикрыть костел за религиозную пропаганду вне стен храма.

Однажды меня попросили доставить в Москву самиздатскую рукопись, назвав только адрес. Когда я прибыл по этому адресу, многолетний отец явно еврейской наружности заговорил со мной прямо в прихожей о величии православия и о душеспасительных возможностях, которыми оно, православие, чревато. Я предложил ему прекратить провокационный разговор и, вернувшись в Питер, с возмущением пересказал всю историю пославшей меня с рукописью приятельнице. Она долго смеялась: оказывается, я принял за провокатора известнейшего на тот момент подпольного богослова (в прошлом театрального режиссера) Шифферса.

Мать иногда молилась – но, строго говоря, не столько молилась, сколько причитала, жалуясь на судьбу. Никогда – даже в глубокой старости – не произносила слов о вечной жизни, о свидании на небесах и тому подобное. Когда умерла любимая сестра, сожгла ее в крематории без отпевания; завещала поступить точно так же и с собою. Говорила полушутя, будто страшится вечной жизни, – хотя, казалось бы, уж ей-то, практически безгрешной, страшиться было нечего.

Я унаследовал эту удивительную беззаботность перед лицом вечности, психическое и физическое – вопреки опасностям и недугам – ощущение личного бессмертия, да, если угодно, и равнодушие к тайнам Неба и Бездны, если таковые (и Небо, и Бездна, и тайны) имеются. Правда, здесь мы с матерью оказываемся на развилке и расходимся в разные стороны.

Меня на протяжении долгой уже жизни не оставляет ощущение, будто я кем-то или чем-то ведом (а когда оставляет, я начинаю маяться, впадаю в хандру, но, как в самом страшном сне, знаю, что все это не по-настоящему, знаю, что меня вот-вот снова подхватят и поведут), тогда как мать жила с твердым ежеминутным ощущением, будто живет надлежащим – более того, единственно надлежащим – образом, и сама правильность (сама собой разумеющаяся) поведения исключает необходимость какой бы то ни было рефлексии. Применительно ко мне речь может идти о заблуждении, об искушении, о какой-то агностической ереси, пусть и не чуждой смирения, но настоящей на гордыне; мать – на мой взгляд, несомненно – была сопричастна атеистической, или агностической, или, не исключено, языческой благодати.

И не была в этом плане исключением: не так уж редко встречаю я осененных этой разновидностью благодати людей – и умею их отличать: в их душах царит безмятежный покой, тогда как любые страхи, тревоги, восторги и иные сильные чувства являются не более чем чисто психофизической реакцией на испытания, приносимые окружающим миром. Такие люди бесстрашны, неутомимы и не ведают уныния. Со стороны они порой выглядят смешно, но, будучи лишены самоиронии, не осознают этого. Общаться с ними легко, а спорить – все равно что биться лбом о каменную стену.

На юрфак мать пошла по семейной традиции. Помог, конечно, и отец-большевик: ее одноклассники по Тенишевскому училищу (из бывших дворян или из тогдашних нэпманов), будучи – и те и другие – лишенцами, доступа к высшему образованию не получили и – чуть ли не все поголовно – нашли жизненную нишу в как раз тогда и нарождавшемся советском кинематографе. На следственной практике ей категорически отказались выдать табельное оружие, а первый же подследственный обратился к ней со словами: «Девочка, позови следователя». В двадцать лет – вскоре после смерти отца, Н. А. Топорова – она была принята в Ленинградскую коллегия адвокатов – и попала в самое пекло уголовных и политических процессов тридцатых

(хозяйственное право мать как следует освоила позже, в пятидесятые – шестидесятые, когда начала участвовать в знаменитых делах Военторга, «валютчиков» и т. д.).

За всю сорокалетнюю практику у матери было лишь два приведенных в исполнение смертных приговора; оба – в шестидесятые. В одном случае ревнивец муж, застав жену с любовником, застрелил их обоих, а затем и троих своих детей, спавших в соседней комнате. «А вам не жалко было убивать детей?» – спросила у него мать на свидании. «Младшенькую жалко, – признался убийца. – А потом я подумал: жену я убил, меня расстреляют, так чего ей, сироте, маяться?»

Другой случай был, по всей вероятности, первым – и задолго до ставших общеизвестными – инцидентом такого рода: часовой на погранзаставе застрелил начальника караула, взломал кабинет политрука, напился спирта, залег у входа в кинозал и по окончании сеанса расстрелял выходящих оттуда товарищей. Один лейтенант, случайно оказавшийся при оружии, выстрелом разнес ему автомат, но он прикончил этого лейтенанта из позаимствованного в кабинете у политрука пистолета и продолжил отстреливаться, пока у него не кончились патроны. Всего он убил семь человек и ранил еще пятерых.

Перед призывом на срочную он жаловался на постоянные мигрени, однако был признан годным. Единственная защита заключалась в апелляции к психиатрической экспертизе, однако главный психиатр Советской Армии, лично проведя экспертизу, признал подсудимого вменяемым. Мать поставила под сомнение объективность экспертизы главного психиатра и потребовала независимой экспертизы, за что ее затем на три месяца отстранили от дел. Защита выдавалась особенно тяжелой – не только из-за подразумеваемого и неизбежного (в случае признания вменяемым) смертного приговора, но и из-за необходимости в зале суда смотреть в глаза родителям погибших солдат и офицеров и выслушивать их проклятия и угрозы.

А вот в тридцатые, добиваясь отмены одного смертного приговора, мать послала телеграмму протеста Сталину. И приговор отменили! Конечно, он был вынесен незаконно – шестнадцатилетнему подростку, совершившему двойное убийство с особой жестокостью (у нас до восемнадцати лет не расстреливают), – но все равно вынесен, и отменил его Сталин по телеграмме моей матери. Странно, неправдоподобно, но тем не менее...

В годы перестройки и постперестройки адвокатура по существу превратилась в структурное подразделение оргпреступности. Адвокаты разнообразно обслуживают находящихся в предварительном заключении мафиози, организуют подкуп и запугивание свидетелей, разваливают дела в корыстном сговоре со следователями и судьями. Такова сегодня адвокатура в массе своей – эффективная адвокатура, по меньшей мере. И даже осуждать этих адвокатов трудно: каковы времена, таковы и нравы.

Но есть особо отвратительная разновидность политиканствующих – или, как я назвал их в одной статье, «эфирных» (потому что они не сходят с телеэкрана) – адвокатов: лощеные, юридически полуграмотные господа, они – верхним нюхом чуют политическую выгоду в каждом конкретном случае – ломают через колено не только Закон, но и историю – историю своего ремесла, в частности.

Самый, пожалуй, активный из них – Генри Резник (в прошлом работник прокуратуры, по собственному признанию, зарабатывавший себе на хорошую жизнь игрой в карты, – то есть шулер, что ли?) – в газетной полемике со мной договорился до того, что якобы до его собственного со товарищи воцарения на псевдоюридическом Олимпе никакой адвокатуры в нашей стране и не было. Ну разве что Каллистратова и Каминская, потом пустота, а потом сразу Падва, Резник, Шмидт и тому подобное. Причем речь идет не только о политической защите (применительно к которой это тоже неверно), но и об уголовной!

Опровергать этот наглый вздор можно по-разному – и обратившись к канонизированным ныне биографиям и автобиографиям «эфирных адвокатов» (скажем, «лучший адвокат 1997 года» Юрий Шмидт был в советское время исключен из Ленинградской коллегии адвокатов

вовсе не за политическую смелость, а за профнепригодность, выразившуюся, в частности, в истериках, в которые он то и дело впадал в зале суда), и напомнив о конкретных делах, о конкретных судьбах, о профессиональном и этическом выборе, сделанном каждым из адвокатов в те дни, когда «за базар отвечали» собственной головой.

В 1937 году моя мать добилась двух оправдательных приговоров по 58-й статье! Надо сказать – это сегодня всячески затушевывается, – что суды были тогда вовсе не такими сервильными и трусливыми, как даже хотя бы в шестидесятые – восьмидесятые. Конечно, «царцей доказательств» было признание собственной вины – и в этом случае адвокат оказывался практически бессилем, а суд штамповал приговоры. И, конечно, признания выбивались из подследственных при Ягоде и Ежове избиениями и пытками, а при Берии – только избиениями. И угрозами родственникам, шантажом, – все это общеизвестно. И все же дел без признания старались до суда не доводить – или на суде они рассыпались.

Сужу, в частности, по судьбе собственного отца: арестованный в 1937-м, он полтора года провел под следствием, подвергался избиениям, но так и не подписал признания – и в результате подпал под бериевскую амнистию и благополучно вернулся и в Ленинград (арестовали и держали его на Черноморском побережье), и в Ленинградскую адвокатуру.

Раз уж речь зашла об этом, упомяну такой эпизод: отец какое-то время сидел вдвоем в камере с будущим маршалом Рокоссовским. «Ну и что говорил Рокоссовский?» – спросил я у него. Отец неуютно поежился. «Понимаешь... Я старался с ним не общаться... Я думал: его ко мне подсадили»... Одним словом, если у меня и есть мания величия, то наследственная. «Подожди, папа, кого к кому подсадили? Адвоката – к военачальнику или военачальника – к адвокату?» Отец вздохнул.

Одно из материнских оправданий тоже носило скорее анекдотический характер. «Вот вы говорите, будто ни в чем не виноваты, но вы же подписали признание», – произнесла мать подзащитному на свидании традиционную по тем временам реплику. «Да, но посмотрите, в чем я признался!» Мать посмотрела. Подзащитный признался – а полуграмотный следователь это «съел», – что является японским шпионом и в качестве такового продал своим иностранным хозяевам Пулковский меридиан. Мать обратила на это признание внимание суда, и ее подзащитного оправдали.

Вторая история, начавшись точно так же, развивалась куда более драматически. На вопрос, зачем же он признавался, если невиновен, подзащитный ответил, что его били на следствии. «Все утверждают, будто их били на следствии, но это же невозможно доказать!» – в досаде воскликнула мать. «А я докажу!..» Подзащитный разулся и вытащил спрятанную между пальцами ног многократно сложенную бумажку. Это оказался медицинский протокол о том, что подследственный такой-то доставлен в медчасть с допроса со следами побоев. Можно только восхититься смелостью врача, составившего и выдавшего подследственному такой протокол. Мать забрала у подзащитного протокол (чего, разумеется, не имела права делать) и сделала соответствующее заявление в зале суда. Судья прервал заседание, вынес постановление о проверке сделанного адвокатом заявления и о привлечении адвоката в случае неподтверждения информации к ответственности за клевету на органы. Мать прожила тревожную неделю, но факты подтвердились, и ее подзащитный был оправдан.

Она была тогда молодой, миниатюрной, на свой лад привлекательной женщиной – и в каких-то случаях ее просто жалели. Однажды, защищая человека, которого наряду с прочим обвиняли в том, что он клеветнически утверждал, будто убийство Кирова организовал Сталин, она брякнула в суде: «Но ведь тогда так думали многие!» – «Да что вы, Зоя, – неформально отреагировал судья. И тут же обратился к секретарю: – Не вносите этого в протокол». Судья был из сослуживцев и друзей моего покойного деда.

В июле 1941 года, рассказывала мне мать, она разговорилась с пожилым адвокатом из хорошей дворянской семьи (такие имелись, хотя и в порядке исключения: почти все ленин-

градские адвокаты были евреями). «Какой ужас, – сказала она, – немцы скоро возьмут Ленинград». – «Да, Зоя, возьмут, но почему же ужас?» – «Ну для меня, как для еврейки по крови, это означает, что меня уничтожат, хотя бы поэтому». – «А с чего, Зоя, вы взяли, что немцы будут уничтожать всех евреев? Нет, они спросят у нас, у русских, кто как себя вел при Советах, а вы вели себя хорошо».

– Ну и что стало с этим ублюдком? – спросил я у матери.

– Умер в блокаду.

В ленинградской адвокатуре двадцатых – семидесятых сохранялась лишь постепенно сходящая на нет традиция дореволюционной России. Адвокаты ревниво следили друг за другом – но не за заработками, а за качеством работы. При всей, мягко говоря, заданности советского судопроизводства особенно ценилась работа в суде – в частности и в особенности защитительные речи. Адвокаты ходили послушать друг друга, а на иные дела и сбегались, активно затем обсуждая каждое выступление. Наряду с репутацией у клиентуры (хороший адвокат... знающий адвокат... ловкий адвокат... адвокат со связями... и так далее) в адвокатской среде существовал и внутренний – гамбургский – счет: в Ленинграде и в Москве были негласно сформированы так называемые «золотые пятерки», войти в любую из которых было в высшей степени престижно.

Попасть на стажировку к сильным адвокатам стремились новички, адвокаты читали лекции и вели практические занятия в университете и других учебных заведениях (мой отец ухитрился прочесть курс уголовного права в школе СМЕРШа), писали статьи по спорным вопросам законодательства – и, конечно, вылетали из адвокатуры, а порой и садились в тюрьму в ходе всяческих чисток. Так, в послевоенные годы был разгромлен «блокадный» президиум коллегии адвокатов, секретарем которого была моя мать; а особенно жестокая чистка пришлась, естественно, на период борьбы с космополитизмом. В круг безродных космополитов почему-то попал и знаменитый адвокат Введенский (родной брат поэта-обэриута), что неожиданно обернулось для нашей семьи несколькими годами преуспевания.

Адвокаты зарабатывали по-разному, хотя, разумеется, все неплохо. Самыми богатыми – но и презируемыми в профессиональной среде – были те, что, подобно нынешним адвокатам, не больно и таясь, брали «под судью», «под следователя», и тому подобное. Заработок остальных слагался из официально вносимого клиентом в консультацию гонорара и так называемого «микста» – денег, которые клиент платил (или не платил) адвокату из рук в руки. Но и сама система «микстов» варьировалась: одни адвокаты (моя мать в том числе) рассматривали «микст» как своего рода чаевые – клиент давал им сколько мог и хотел в начале дела или по завершении его, причем сам факт «микста» и его размеры никак не оговаривались предварительно, а качество профессиональных услуг от получения дополнительной mzды не зависело.

Забавная история приключилась в этой связи с моим отцом в конце двадцатых. Он защищал человека, слывшего крестным отцом тогдашней питерской мафии, причем защищал, будучи абсолютно убежден в его невиновности. Защитил с блеском – предполагаемого крестного отца освободили из-под стражи прямо в зале суда. Освобожденный предложил отцу прогуляться до трамвайной остановки. Отец пошел с ним, ожидая, что его сейчас отблагодарят материально. Однако дело приняло неожиданный оборот. Уже на трамвайной остановке подзащитный сказал отцу: «Я действительно тот, в чем меня подозревали. Но защитили вы меня все равно прекрасно. Сейчас за нами на прогулке следили все опасные люди города. Но мы с вами прошли вместе – и теперь они для вас не опасны. Всего хорошего!»

Вскочил в трамвай и уехал.

Другие адвокаты сами назначали размеры обязательного «микста» (правда, могли в традициях дореволюционной адвокатуры защитить и неимущего, но это разговор отдельный). Введенский слыл и являлся одним из самых дорогих адвокатов. Матери моей он сперва помо-

гал, патронируя ее, а потом они стали друзьями. И вот, оказавшись на несколько лет вне адвокатуры, он начал посылать к ней своих клиентов, заранее оговаривая с каждым сумму «микста», которую мать затем делила с ним пополам. Как раз в эти годы нам перестал помогать отец, которого выгнали из коллегии одновременно с Введенским (а восстановили на несколько лет позже, самым последним, потому что он умудрился на приеме у министра обозвать его идиотом), но жили мы богато, как никогда раньше или позже.

Впрочем, была еще одна разновидность чрезвычайно богатых адвокатов – специалисты по жилищным вопросам. От одного из них, также старшего приятеля моей матери, осталась бессмертная, на мой вкус, шутка. Жилищные дела были чаще всего связаны с семейным обменом, со съездами и разъездами родственников. Хорошо бы съехаться с дорогой мамочкой, дай ей бог здоровья, которая живет в отдельной квартире и не сегодня-завтра помрет... Но ведь она, дай бог, здоровая и нестарая женщина – а вдруг мы съедемся, а она проживет еще долгие годы?.. Услышав этот стандартный набор треволнений и получив (или хотя бы запросив) соответствующий гонорар, адвокат-жилищник весело начинал: «Что ж, давайте подумаем, как сделать, чтобы и с мамочкой было хорошо, и без мамочки тоже хорошо!»

В середине семидесятых – мать дорабатывала последние месяцы перед выходом на пенсию – у нас дома раздался телефонный звонок из далекого Сухуми:

– Вы защищаете моего сына? – спросила женщина. – А что он сделал?

– В общем-то ничего хорошего, – ответила моя мать. – Вместе с двумя товарищами изнасиловал, убил и ограбил официантку из ресторана «Нарвский».

– Ай, горе какое! Сто тысяч судье, пятьдесят – прокурору, пятьдесят – вам, а? Не расстреляют?

Подзащитного моей матери расстрелять не могли по определению: в компании трех насильников, грабителей и убийц он был самым младшим, тогда как у старшего – вожака – уже имелась судимость за разбой, и, соответственно, под расстрел, как рецидивист, шел именно он. Мать гордо отказалась от фантастических для нас двухсот тысяч, правда, потом всю зиму мы ели зеленые абхазские мандарины, ящиками прибывавшие с проводником. Подзащитный получил свои десять лет.

Вспоминаю и такой случай начала восьмидесятых. Мать уже несколько лет была на пенсии, но время от времени практиковала на дому, давая советы и составляя бумаги своим старым клиентам или людям, приходившим к ней по рекомендации этих клиентов. Мы не нуждались: я очень хорошо зарабатывал, да и у нее была максимальная пенсия, но все равно эти случайные приработки ее чрезвычайно веселили. За совет клиент платил ей на дому десять рублей (а в юридической консультации такса за совет составляла рубль). И вот однажды, вернувшись домой, я застал мать в особенно радужном настроении. В чем дело, спросил я. Оказывается, в мое отсутствие у нее побывал клиент и оставил ей за совет аж сто рублей. Ну и что у него за дело, спросил я. Его исключили из партии за моральное разложение, и ему хочется восстановиться, ответила мать. Правильно его исключили, неожиданно для себя самого вступился я за организацию, в которой никогда не состоял.

Сегодня многие гордятся нечленством в КПСС (хотя завтра, не исключено, это изменится). И гордятся, как правило, те, кого в партию не брали: по «пятому пункту» (что, конечно, не исключало членства, но сильно затрудняло его), по каким-нибудь еще темным пятнам в анкете, или просто до этих людей не доходила многолетняя – для работников умственного труда – очередь на прием. Меня в партию пригласили – двадцатитрехлетнего старшего инженера-переводчика на заводе, – когда через пару недель после моего поступления на службу освободилось место начальника Отдела технической информации. Я тогда нашел, как мне кажется, удачную формулу: «Я недостойн состоять в одной партии с Леонидом Ильичом Брежневым», но служебная карьера на этом, разумеется, застопорилась.

В мае 1996 года на истерическом писательском собрании, на котором мне лишь с великим трудом удалось предотвратить общую резолюцию в поддержку кандидата в президенты Ельцина и кандидата в губернаторы Собчака, мой добрый друг Сергей Гречишкин выступил с антикоммунистической филиппикой и неожиданно завершил ее словами: «И пусть сегодня Топоров любит коммуняк, я-то помню, как он их раньше ненавидел!» – «Понимаешь, Сережа, – сказал я ему позже, в буфете Дома журналиста, – свобода, на мой взгляд, заключается не только в том, что можно ругать коммунистов, но и в том, что их можно не ругать». – «А вот придут коммунисты, опустят железный занавес, к нам перестанут поступать импортные лекарства, и я умру», – возразил мой друг, к сожалению, тяжело больной сердечник. «У тебя, Сережа, своя логика, а у меня своя». – «И пива чешского тоже не будет», – пригрозил он. Но пили мы отвратительную и совершенно напрасно разрекламированную на всю страну «Балтику».

С двадцати лет мать начала практически содержать всю семью. Сестру, брата, мать, домработницу; потом, после войны – сестру, меня, домработницу; зарабатывала она по-разному, но всегда прилично – в диапазоне между тогдашними доцентом и профессором (но все же меньше профессора), а главное, ей нравилось зарабатывать. Нравилось работать (она была трудоголичкой и порой отправлялась в суд даже с температурой тридцать девять) и нравилось зарабатывать своим трудом – она была в этом – немаловажном – отношении совершенно счастливым человеком. Тратить деньги (особенно на себя) ей нравилось меньше: не то чтобы она была скуповата, но у нее практически никогда не было шальных денег, каждая копейка имела трудовую предысторию, а такие деньги (я понял это гораздо позже, когда, лет в сорок семь, засел за изнурительные коммерческие переводы) и тратятся тяжелее.

Но главная черта, которую я унаследовал и которая у моей матери имела лишь на бессознательном уровне, заключалась вот в чем: тратя деньги на других, в первую очередь – на близких, она как бы откупалась от них. Не потому, что мало любила, но потому, что почти ничего – кроме как зарабатывать деньги – не умела. Кое-как готовить она научилась лет в семьдесят, тогда же освоила нитку с иглой на уровне пришивания пуговицы (хотя вдевать нитку приходилось мне; она уже неважно видела), стала мыть посуду, подметать, стирать мелочь, – хотя полы нам мыли соседи, а одежда и белье неизменно отправлялись в прачечную.

У нее не было времени воспитывать меня, пока такое было возможно, и этим занимались тетя и няня. Летом меня с тетей и няней отправляли на дачу или в Прибалтику (в самые трудные годы – в пионерлагерь), а мать присоединялась к нам в лучшем случае недели на две. Когда ее просили что-то сделать (помочь кому-нибудь), она предлагала деньги или, чаще всего, давала совет – стремление давать советы, когда их просят и когда не просят, является профессиональным заболеванием адвокатов. В поздние годы, отправляясь на дачу или все в ту же Прибалтику с тетей (а после тетиной смерти в 1979 году – с подругой; потом, после смерти подруги, – с другой подругой; потом – с третьей), она брала на себя основную часть расходов, препоручая компаньонке основную часть забот. Жить по средствам она не слишком умела – и неизменно оказывалась в конце лета в небольшом долгу у бедной, но куда более расчетливой спутницы.

Жили мы, пожалуй, странно: никогда не отказывая себе ни в еде, ни во внешне бессмысленных тратах, одеваясь (за исключением модницы тети) кое-как, устраивая званые вечера (еженедельно) и угощая гостей на щербатом фарфоре бабушкиных, если не прабабушкиных времен. Мебель была старинной и разнотильной – ее сволокли в наши три комнаты из всей квартиры, поэтому угловой шкаф из кабинета соседствовал с трюмо, а козетка, на которой сидел в свое время Плеханов, стояла возле буфета.

В доме было полно ваз (чаще всего подтреснувших) и поломанных фарфоровых украшений. Скажем, старинные часы с ангелами, голову одному из которых свернул в детстве я,

а другому за тридцать лет до этого – мой дядя Валерий. Все или почти все мало-мальски ценное было продано или просто пропало в блокаду; однажды, в нелепом порыве, мать разобрала роскошную (правда, тоже щербатую) люстру на хрустальные бусы; псевдо-китайская (Дания конца прошлого века) напольная ваза – единственная фамильная ценность, сохранившаяся у меня по сей день: на одном боку – дом, на другом – дорога; время от времени я по настроению разворачиваю ее то так, то этак.

Уже на моей памяти куда-то запропастилась пожелтевшая брошюра с автографом Пушкина, невесть откуда, впрочем, и взявшаяся. Застал я и огромное плюшевое кресло из семейных «двенадцати стульев»: кресла были парными, в одно из них бабка зашила в гражданскую брильянтовые серьги и вспомнила об этом только перед войной, уже продав, естественно, именно его. Две вазы с изваяниями полуобнаженных нимф будили эротическое воображение, одну из них при довольно занятых обстоятельствах украли в 1986 году.

Я встретился с предпоследней на тот момент женой для очередной передачи алиментов на дочь, что в те годы неизбежно выливалось у нас в безобразную пьянку. На этот раз пьянка перенеслась в какую-то приватную сауну, где к нам присоединились тогдашний муж Ирины и одна из ее приятельниц. Подробности опускаю, кроме единственной: я сел на раскаленные камни. После чего, правда, еще долго резвился, пил, плавал в бассейне и, отвергнув предложение подруги бывшей жены полечить меня, отправился в полном одиночестве домой. Был примерно третий час ночи.

Неподалеку от дома, на мосту через Фонтанку, ко мне обратились с просьбой прикурить трое подростков – двое юношей и девушка. Тут же выяснилось, что и ночевать им – абитуриентам соседнего техникума откуда-то из Кингисеппа – негде. «У меня есть свободная комната, правда, всего с одной койкой, – сказал я. Мать была на даче, соседи в отъезде. – Так что милости прошу». Находясь в шоковом состоянии и потому не чувствуя боли, я держался молодцом: поговорил с ребятами, угостил их вином, не пристал к девице и завалился спать.

Проснулся я, естественно, от дикой боли. Впрочем, не только от боли – из меня, прошу прощения, хлестала сукровица. Наскоро заглянув в соседнюю комнату и убедившись, что гости ушли по-английски (только на зеленом сукне маминого дивана темнел влажный след любви), я позвонил бывшей жене на службу за медицинской консультацией. Рассказал заодно и о ночных посетителях. «Ой, они тебя наверняка обокрали!» Я возмутился: такие хорошие ребята. И, уже не в первый раз побывав в ванной, отправился на кухню варить кофе.

Где и обнаружил, что стоявшая на холодильнике банка с кофе исчезла. Я заглянул в холодильник и убедился, что оттуда пропала пол-литра водки и банка икры минтая. Мрачно вздохнув, я отправился за сигаретами: пачка у меня кончилась, а нераспечатанный блок должен был находиться в портфеле, стоящем на полке в передней. Портфель нашелся и сигареты тоже – исчез из портфеля почему-то только кулечек семечек. Я воздел очи горе – и увидел, что с вешалки пропала замшевая куртка. Поглядел на часы и понял, что настало время слушать трехчасовой выпуск новостей «Голоса Америки» («Свободу» тогда глушили). Но мой приемник исчез.

Тогда я отправился в мамину комнату и осмотрелся там повнимательней. В шкафу явно рылись в поисках денег, но их там не было и быть не могло (у матери никогда не было никаких накоплений; пропали, как выяснилось по ее возвращении в город, облигации послевоенных займов, которые как раз тогда вроде бы начали гасить). И, увы, не обнаружил я обнаженной нимфы. Вторая ваза, находившаяся у меня в комнате, была цела, но мать – с присущим нам обоим чувством справедливости – настояла на том, чтобы я отдал ее взамен похищенной.

Кофе был скверным, куртка старой, водка обычной, икра минтая отвратительной, приемник ломаным, ваза битой, займы давно забытыми, а семечки я так и не успел попробовать. Вечером ко мне явились две очаровательные дамочки, но я оставил их ночевать в своей ком-

нате, а сам перебрался в мамину и принялся разбираться с по-прежнему хлещущей сукровицей. Завернув с порога сперва одну, а потом другую.

И утром усевшись переводить кладбищенскую лирику немецкого экспрессиониста.

Сукровица хлестала еще недели две, а наибольшее удовольствие извлекла из всей этой истории моя бывшая жена – не та, с которой мы были в сауне, а ее преемница, расставшаяся со мной месяца за четыре до описываемых событий и меня на тот момент ненавидевшая. Будучи особой, не лишенной юмора (иначе мы и не сошлись бы! «Самый талантливый человек нашего поколения женился на самой красивой женщине нашего поколения», – прокомментировал наш союз через полгода после возникновения один приятель. А почему через полгода? Потому что эти полгода он провел в сумасшедшем доме), она придумала шутку, с которой и обошла весь – не маленький по тогдашним временам – Ленинград.

«Слышали, – говорила она тихим и грустным голосом, – Топоров сел... (что было в те дни вполне вероятно или как минимум актуально). – И, услышав естественный вздох собеседника или собеседницы, ликующе завершала: – Жопой в сауну!»

К постоянным, трагикомическим и всегда внезапным («судьбоносные» решения неизменно принимались в состоянии глубокого алкогольного опьянения, проще говоря, – спьяну) переменам в моей жизни мать относилась трепетно: поджимала губы, качала головой, бросала на меня укоризненные взоры; случалось, и «собирала информацию», как бы невзначай подслушивая мою половину телефонных разговоров. Так, впрочем, продолжалось лишь до тех пор, пока ей не становилось ясно: решение, принятое мною, окончательно. А тут уж она, поневоле проникнувшись моей правотой (далеко не всегда очевидной мне самому, особенно – в ретроспективе), успокаивалась: всё опять вышло правильно, вышло нормально, значит, можно и нужно жить дальше. Мои разочарования с годами накапливались – мне уже стоило ощутимых усилий не согнуться под их бременем, – а мать с оптимистической готовностью начинала все с чистого листа.

Это было, конечно же, напрямую связано с ее профессией. Провести дело – провести его честно и самозабвенно по всем инстанциям, – и если оно все же окажется проиграно, не унывая, начать новое, – и это, новое, тут же снова превратится в самое главное. Дополнительным источником оптимизма служила сама природа юридической защиты: даже на проигранное в Верховном суде дело можно было со временем подать «надзорную жалобу» – ощущения окончательного поражения, кроме двух «расстрельных» случаев, не возникало. Много раз мать возвращалась домой из суда и произносила с непоколебимой уверенностью одно-единственное слово: «Отменяй!» Это означало, что ее подзащитного приговорили к расстрелу, и она действительно добивалась отмены или смягчения этого приговора.

О смертной казни я с нею – да и с другими адвокатами – много спорил. Они – даже в пятидесятые, когда у всех на памяти был беспредел, и прежде всего тюремный и лагерный беспредел, возникший сразу же после сталинской отмены смертной казни, – руководствовались банальным ныне набором догматов, включая, естественно, неизбежность судебных и следственных ошибок. Я уже тогда понимал, как понимаю и сейчас, что некий коэффициент дикости, на который надо умножать или делить все происходящее в стране, сохраняет позитивную эффективность, лишь пока он распространяется на всё в равной мере.

Грубо говоря – из репертуара наших дней: нельзя (по европейским рекомендациям) кормить заключенных на десять долларов в день, если у большинства населения нет на еду и одного доллара. Нельзя вводить суд присяжных там, где нет гражданского общества. Нельзя и отменять смертную казнь там, где преступник вооружен, а его жертва беззащитна, там, где существуют «курортные тюрьмы» (такowymi при социализме слыли только грузинские), да и многое, многое другое.

Сама мобилизационная модель исключала отмену смертной казни: сталинские чиновники, включая министров, не воровали потому, что знали: за это их непременно расстреляют. Расстрелять могут и по многим другим причинам (а бывало – и без вины), но за воровство – обозвав его вредительством – расстреляют непременно.

Властная вертикаль строится на страхе и на любви к деспоту; Ельцин попробовал было в 1991 году, имея на то объективные обоснования (пресловутое ельцинолюбие), выстроить ее на одной любви – и что у него вышло, мы знаем. Институт смертной казни поддается корректровке (скажем, возможно автоматическое назначение повторного следствия в случае вынесения соответствующего приговора), но никак не отмене. У нас с матерью это было одним из самых затяжных споров – и на мои позиции она перешла лет эдак в восемьдесят (а Ельцина разлюбила и вовсе в восемьдесят пять).

Защита по политическим делам (которые у нас формально отсутствовали) укладывалась в советское время в тройную парадигму. Первый и наиболее известный (а по времени возникновения – самый поздний) вариант был напрямую связан с правозащитным движением: адвокат солидаризировался с подзащитным, превращал зал суда в ораторскую трибуну, вылетал впоследствии, как правило, из коллегии, а то и садился; юридический эффект от такой защиты был нулевым, пропагандистский – огромным: на твоего подзащитного начинали работать «дружеские голоса» и столь же дружеские спецслужбы, что сплошь и рядом (хотя далеко не всегда) облегчало его участь. По этому пути шли москвички – Каминская, Каллистратова...

Второй путь – самый эффективный, но весьма цинический (здесь первенствовал питерский адвокат Хейфец) – заключался в том, что адвокат становился посредником между подзащитным и следственными органами, становился организатором и гарантом сделки: подзащитный публично каялся, а его выпускали на свободу или минимизировали наказание (случай, в частности, Звиада Гамсахурдиа, будущего первого президента Грузии).

Третий путь – по нему-то и шла моя мать – заключался в жестком споре по формулировкам и по доказательной базе. Правда, в силу своего «центризма» он не отличался особой эффективностью – ни в пропагандистском плане, ни в сугубо практическом.

Самый характерный пример – операция «Свадьба». Пятнадцать человек, из них тринадцать евреев, решили захватить самолет и улететь на нем по направлению к исторической родине. Еврейская эмиграция на тот момент (весна – лето 1970 года) едва тлела. «Самолетчики» посовещались с «сионистами» и не получили у них благословения на операцию (что не помешало тут же посадить и самих «сионистов»; я, впрочем, подозреваю, что кто-то из них «самолетчиков» и сдал).

Взяли их на подходе к аэродрому – со скупленными на весь рейс билетами, с мотками веревки, которой предполагалось связать, оставив затем на взлетном поле, экипаж самолета, с пистолетом, выстрелить из которого, как показала экспертиза, было невозможно, и еще с какими-то молотками. Руководили заговорщиками Дымшиц (отставной летчик) и Эдуард Кузнецов. Нееврейями во всей компании были Мурженко и Федоров. Моя мать защищала Федорова. Именно Федорова, наряду с Дымшицем и Кузнецовым, и приговорили к расстрелу – исключительно для того, чтобы судей не упрекнули в антисемитизме.

Впоследствии приговор был, разумеется, смягчен: Дымшица с Кузнецовым, да и многих других заговорщиков, Израиль с помощью международной общественности из тюрьмы как-то вызволил, обменял и тому подобное, а Федорова с Мурженко, увы, забыли... Мать ставила этот вопрос перед академиком Сахаровым – но все так же безрезультатно. В Израиле «самолетчиков» встретили как героев, а у нас после процессов над ними и над «сионистами», руководствуясь какой-то прихотливой логикой, сильно смягчили правила и фактический порядок еврейской эмиграции.

На суде адвокатов-героев не обнаружилось. Тринадцать из пятнадцати адвокатов приняли формулировку обвинения: «Приготовление к измене родине в форме незаконного пере-

хода границы». Двое – моя мать и московский адвокат Арие – настаивали на том, что желание покинуть страну вовсе не означает измены родине и судить подзащитных следует лишь за приготовления к незаконному переходу границы. Статью об угоне самолета в Уголовный кодекс внесли позже.

После суда над «самолетчиками» мать временно отстранили от ведения подобных дел, а впоследствии всячески «отговаривали» родственников того или иного арестованного от обращения за юридической помощью именно к ней. Последнее обращение такого рода, впрочем, последовало в связи с делом Гарика Суперфина (помощника Солженицына по сбору материалов к «Архипелагу»), но тут категорически воспротивился я: матери было уже под семьдесят, а дело предполагало разъезды по российской глубинке и не исключало неласковой встречи со стороны провинциальной госбезопасности. «Защищай, мама, убийц и насильников», – ласково сказал я. «И расхитителей», – робко подсказала она. «Очень хорошо, и расхитителей...» Вскоре после этого тетя тяжело заболела, и мать, в основном чтобы ухаживать за ней, ушла на пенсию.

В последние годы в адвокатуре мать неожиданно занялась и теорией, написав несколько статей по едва введенной тогда, а сейчас весьма актуальной теме «защиты личного достоинства». Я помогал при написании этих статей – и заранее зарядился сведениями, более чем пригодились мне в девяностые...

У матери было два инфаркта, правда, уже в очень зрелом возрасте, были и другие хвори (впрочем, физическую боль она переносила относительно легко); сильнее же всего досаждала ей прогрессирующая с годами слепота (при ее слабом сердце врачи отказывались делать операцию): жизнь без чтения – а она всегда успевала прочитывать все, что я, и самую малость сверху, – была для нее тягостна; телевизор она «слушала», как радио; радио слушала тоже, но всего этого ей было мало.

Года в восемьдесят четыре, уже совсем слепая, она впервые в жизни принялась сочинять стихи (в уме, разумеется), надиктовала их по телефону приятельнице, та записала и прислала... Впрочем, свежесочиненное она с радостью неопитки норовила прочесть и мне, я отмахивался, она читала стихи внучке, но та не большая любительница поэзии. Помню четверостишие: «Каждый умирает в одиночку, // Говорит писатель Фаллада. // И действительно попал он в точку: // Умираю я совсем одна». Я обиделся: как, говорю, одна, а любящий сын?.. «Но это же стихи», – виновато вздохнула она.

Тетя умерла в январе 1979-го, я ушел от матери к одной из жен в январе 1984-го и вернулся в апреле 1986-го; остальную жизнь мы прожили вместе. Я сам был уже пожилым человеком, но ощущение собственной беспомощности перед фактом ее тихого угасания (притом, что и ей, и мне было присуще чувство личного бессмертия) буквально бесило меня – и я роптал, как какой-нибудь байронический богоборец. Наследства она не оставила – разве что фамилию, которую я кривоватыми семейными путями передал дочери...

Глава 2

Гамбит неудачника

«Посредством шахмат я воспитал свой характер», – отчеканил чемпион мира Алехин. Увы, это не мой случай. Правда, если и не посредством шахмат, то благодаря им мне удалось свой характер познать.

Имелась, однако, еще одна спортивная наводка. В юности я недолгое время занимался классической борьбой. И вот, наблюдая за моей неуклюжей возней на мате, тренер по фамилии Сапунов не без одобрения приговаривал: «Ты, Витя, борись... борись... Техники у тебя совсем нет, силы почти нет, а злости и наглости – хоть отбавляй!»

Был он хорошим психологом, хотя и не слишком. С наглостью у меня и впрямь дело обстояло отлично, а вот со злостью... Был я, конечно, зол, но отходчив, причем, перефразируя Булгакова, внезапно отходчив, что и на борцовском ковре, и, естественно, за его пределами меня не раз подводило. Потому что противники мои – по жизни, как выразились бы сегодня, – чем-чем, а вот отходчивостью не отличались никогда.

Правда, к шахматам (в отличие от борьбы) я пришел вовсе не из жажды самоутверждения и торжества над соперником, хотя и этот элемент полностью исключить, разумеется, нельзя. В шахматах меня с самого начала привлекла красота, эстетика, я воспринимал их как искусство (в первую очередь как искусство) и, в двенадцать лет увлекшись ими всерьез, полагал, что именно в этом искусстве мне и предстоит себя найти.

К этому времени я уже имел солидный опыт эстетических разочарований. К литературе – после сочинения стихов и «переводов» в четырехлетнем возрасте и стихотворных трагедий на библейские и из истории Французской революции сюжеты в десятилетнем – я временно остыл. Вздумал было играть на скрипочке (мой отец был за политическую деятельность изгнан с последнего курса Одесской консерватории, но впоследствии, по-моему, не играл), но не смог повторить за руководителем кружка уже вторую порцию барабанной дробы пальцами по крышке рояля. Заниматься со мной он, правда, согласился, но только приватно, за деньги, а я был смышленным мальчиком и прекрасно понял, что это значит.

Пришел в кружок живописи – и получил задание написать композицию на вольную тему. «Замечательно, какая фантазия! – искренне восхитилась руководительница. – А теперь нарисуй вот это!» И передо мной появился муляж ядовито-зеленого яблока. Нарисовал я и яблоко. «Какая фантазия! – по инерции восхитилась руководительница. – Но попробуй нарисовать его так, чтобы было похоже». Я попробовал. «Да, конечно, у тебя такая фантазия...» Произнесено это было упавшим голосом, и я понял, что судьба любимых мною тогда Дюрера, Штука и Сурикова мне не грозит.

Позже мне показали, что подобные нестыковки можно преодолеть волюнтаристским методом. «Дуй», – сказали мне на медицинской комиссии в военкомате, подсунув ко рту какую-то трубку. Я дунул – и выдул литр. «Издеваешься, – сказали мне. – Дуй со всей силы!» Я дунул – и выдул полтора. «Четыре с половиной, – написали в моей медицинской карте. – Годен». Но в искусстве критерии, конечно же, куда более объективны.

Неудача моих творческих попыток была особенно унижительной из-за того, что проходили они в режиме наибольшего благоприятствования: в том же Доме пионеров работала библиотечаршей и исполнительницей русских народных сказок моя тетя (я, издеваясь, называл ее Саринной Родионовной), все меня там знали чуть ли не с младенчества и, надо полагать, любили. В начале пятидесятых тетя приглашала на скромный, но рискованный по тем временам (и для нее тоже) чёс опальных литераторов. На выступлении Зощенко мне, шестилетнему, было скучно, а вот Евгению Шварцу я чуть было не сорвал мероприятия, перебивая его с места

криками о том, что эту сказку я знаю, и эту тоже, так что пусть он не халтурит, а рассказывает новые.

Конечно, человек, в известной мере обведший вокруг пальца и самого Сталина, справился с наглым щенком. Он вызвал меня на сцену, спросил, сколько мне лет, и, обратившись к сидящим в зале школьникам (и, надо полагать, подмигнув у меня за спиной, потому что что-то, а подмигивать он умел), сказал: «А сейчас мы с шестилетним Витей будем рассказывать вам мои сказки. Я буду начинать, а Витя заканчивать». Так и произошло, правда, тетя меня больше на такие мероприятия не брала: я нарушил данное ей слово сидеть тихо. Но в остальном все двери в этом Доме пионеров были передо мной распахнуты. И вот, с горя, я отправился в шахматный кружок.

Кружком этим руководил колоритнейший персонаж Андрей Михайлович Батуев. Красавец, певец, рьяный натуралист, державший и в Доме пионеров, и у себя в коммуналке десятки животных и птиц, в частности попугаев, и безуспешно добивавшийся от последних, чтобы они заговорили. И утверждавший, что наедине с ним они разговаривают. И шахматный мастер – а мастеров вместе с гроссмейстерами было тогда во всем СССР человек сто, не больше.

Совсем недавно, уже после выхода печально ославленной мною же книги Евгения Рейна «Мне скучно без Довлатова», ее автор опубликовал новую порцию рассказов, один из которых как раз про Андрея Михайловича. Любопытна техника воспоминателя: Батуев выведен под несколько измененной фамилией, превращен в человека заведомо нелепой профессии – мастера спорта по шашечной композиции, батуевские попугаи произносят в прозе у Рейна целые монологи, назван и повод знакомства – Рейн со товарищи снимает о Батуеве документальный фильм. Непонятно только, чего ради: и шахматистов, и натуралистов советская власть, конечно, привечала, но не до такой степени.

Дело в том, что на склоне дней Батуев объявил себя двоюродным племянником Владимира Ильича Ленина.

Именно о племяннике Ленина и снимал короткометражку Рейн, именно это он, разумеется, и запомнил. Батуеву я проиграл с форой в ладью. А с форой в ферзя выиграл. Выиграл – на равных – в первый же вечер у всех кружковцев. Андрей Михайлович сообщил моей тете, за которой безуспешно ухаживал (после трех браков и великого множества романов она к сорока пяти не то чтобы увяла, но однозначно остыла, хотя и продолжала тратить на тряпки и на косметику всю свою копеечную, пусть и полуторную, зарплату), о несомненном шахматном даровании. Что – на фоне предшествовавших провалов и разочарований в стенах все того же Дома пионеров – пришлось как нельзя кстати. Через пару дней шахматная библиотека Дома пионеров (весьма недурная) начала перекочевывать ко мне на Достоевскую.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.